ISSN 0130-6049

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2013

16+

ПОВЕСТЬ ПЬЕРА МАК-ОРЛАНА
«ЗВЕРЬ ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ»

РАССКАЗЫ ХУЛИО КОРТАСАРА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД «1968»

Основан в 1955 году

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Литературный гид: 1968» приурочен к сорокапятилетней годовщине вторжения в Прагу советских танков (войск «стран Варшавского договора», согласно официальной тогдашней формулировке).

И открывают блок мемориальных материалов стихи Ивана Дивиша (1924–1999) под общим заголовком «Из книг поздних лет». Неистовый пафос и беспросветный мрак этих стихов подстать и мученической биографии поэта, о которой дает представление их переводчик и автор короткого вступления — русский «чех» Сергей Магид (1947). Его перу принадлежит и рассказ «Отчет за август», написанный от лица советского танкиста — участника тех событий, которым, совсем не исключено, писатель некогда был.

Следом — чешский историк Адам Градилек (1976) с послесловием к чешскому изданию сборника Наталии Горбаневской «Полдень» — о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Адам Градилек рассказывает о злоключениях с публикацией этой книги, автор которой «никогда не ратовала за создание ореола вокруг собственного участия в акции и всегда старалась привлечь максимум внимания к действиям других советских граждан, отважившихся на протест». Перевод Нины Фальковской.

И завершается «Литературный гид» статьей чешского политолога и журналиста Иржи Юста (1983) «Слово предоставляется свидетелям», пытающегося развенчать миф о равнодушии по отношению к трагедии Пражской весны, во всяком случае, всеобщем.

- Литературный гид: 1968
  - Иван Дивиш
    -
    - Деспотия
    - «Я этому свидетель, и, если бы я не сказал это…»
    - «Никто уже не поверит ни единому вашему слову…»
    - «Святой Иероним, пробуди льва, ссуди мне язык…»
    - «Со мною это тоже было так, что лучше б я повесился…»
    - Большевикам

        - Изгнание IV
        - Псалом 58
        - Псалом 97
        - «Джон Китс и Перси Биши Шелли…»
    - Сергей Магид
    - Адам Градилек
    - Иржи Юст
        -
        - Русский взгляд
        - Больше свободы
        - Точка зрения оккупанта
        - «Раздавлен русскими танками в Праге»
        - Миф о равнодушии
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15

Литературный гид: 1968

Иван Дивиш
© Перевод С. Магид

Пятую часть книги «Ной выпускает ворона» (см. Бытие. 8:7) чешский поэт Иван Дивиш писал в морге лечебницы для хронических алкоголиков. Лечебница для хронических алкоголиков находилась в дальней лесной пустыне Северо-Восточной Моравии. Здесь, почти на границе с Польшей, лежал географический пункт Била Вода, где к 1967 году от Рождества Христова сохранились только два плода человеческой цивилизации — почта и здание бывшей синагоги.

Синагога Нового времени на чешском сленге называлась templ — «собор, замок», так ее называл и Дивиш. Из прежних прихожан молиться в этом соборе было уже некому, теперь в нижних его помещениях теснились католические монахини, согнанные сюда из ликвидированных женских монастырей, под крышей жили хронические алкоголики, включая поэта Дивиша, а в противоположном углу широкого двора размещался флигель, где содержались буйно помешанные и откуда не было пути назад.

Уходя на лечение, Дивиш захватил с собой пишущую машинку «Континенталь». Стучать по ней в общей палате он не мог, кроме того, ему требовалось одиночество, без наличия которого поэт перестает функционировать, и самым одиноким местом в географическом пункте Била Вода оказалась покойницкая. По-чешски эта часть жилья звучит страшновато — umrlčí komora, дословно «кладовка для мертвецов».

Вот в эту «кладовку» больничные плотники и внесли вместо гроба письменный стол, который сварганили из разных деревянных отходов, узнав, что наверху есть человек, «который пишет». Как только стол был готов, Дивиш уселся за него и продолжил процесс.

Писал он, не отрываясь, днем и ночью. Немногие молчаливые соседи не обременяли его своим молчанием. Скорее ему мешала медсестра, которая посреди ночи гнала его спать, говоря, чтобы он уже наконец «оставил это дело», а он не шел, и не оставлял, и не слушал добрых советов. Но днем иногда выходил за ограду лечебницы и поднимался на холм над дорогой, и оттуда смотрел на Польшу, и видел озеро по ту сторону границы, а на озере белые точки яхт. Значит, это было лето или ранняя осень 1967 года, то есть ровно за двенадцать месяцев до Вторжения.

Теперь эта часть книги «Ной выпускает ворона», написанная в «кладовке для мертвецов», известна под названием «Шквально» и

в ней упоминаются Силезия, Лейбниц, Спиноза, Марс, Вега, Кортес, пророк Мухаммед, Камоэнс, Дели, Эйнштейн, архангел Гавриил, Фрагонар, Калло, альпинисты Хиллари с Тенсингом и их Эверест, но нигде, ни разу, ни в какой связи не упоминаются русские…

Вернувшись в Прагу, Дивиш в конце 1967 года предложил машинопись из «кладовки для мертвецов» издательству «Чески списователь». Издательство не только без всяких проблем приняло книгу к публикации, но и включило ее в элитарную серию «Клуб друзей поэзии». По издательскому плану книга должна была выйти в самом начале 1969 года. Вторжение чужих армий еще не помешало сделать набор и подготовить книгу к изданию, хотя оно и значительно затянулось в связи с общей ситуацией в стране, но 14 августа 1969 года Дивиш навсегда, как он тогда считал, ушел из Чехии (одна из поздних его книг так и называется «Odchod z Čech» [«Уход из Чехии»]), и набор книги «Ной выпускает ворона» был рассыпан.

Однако это была не единственная книга, которую писал Дивиш в 1967 году. С мая по сентябрь того же года он работал еще над поэмой «Танатея» («Thanathea»). Речь здесь шла о диалоге со смертью («Танатея», как уже догадался читатель, знакомый с древнегреческой мифологией, было ее именем), но диалог чуть ли не с первых же строчек превратился в жесткое совокупление автора с пришедшей за ним костлявой, поскольку как же еще, по мнению Дивиша, можно было с этой тварью общаться (тем более, что «кость» [kost] на чешском сленге — это стройная, изящная и полная сексуальной притягательности женщина):

> Ну прыгай старая подруга
> сядь на меня верхом
> прибор стоять
> осеменим друг друга

Таким примерно он видел свой диалог с оппоненткой и в соответствующем такому диалогу состоянии он тогда и пребывал. Поэма «Танатея», несмотря на свои абсолютно не соцреалистические содержание и форму, была благополучно издана в издательстве «Диалог» северочешского города Мост в конце лета 1968 года. Как говорил сам Дивиш, «буквально под дулами советских броневиков». В этой поэме, которая является стержневой для творчества Дивиша, упоминались фантастический город смерти Нагатумба, непальская река Тиста, опять же гора Эверест, Флоренция, Мадрид, Огненная Земля и даже остров Питкерн, но нигде, ни разу, ни в какой связи не

упоминался Советский Союз…

Иногда говорят и пишут, что Вторжение так подействовало на Дивиша, что он после событий 1968 года десять лет не мог писать стихи. Наоборот, все эти годы он писал их со всей силой, а если и пошли слухи о его молчании, так это, видимо, потому, что семь лет после Вторжения его стихи не издавались. Действительно, после выхода «Танатеи» в 1968 году, следующая его поэтическая книга (та самая, которую он отчасти писал в морге и набор которой был рассыпан, «Ной выпускает ворона») вышла только в 1975 году, в Торонто (но проза Дивиша, знаменитая книга его философских дневников «Теория надежности», вышла еще в 1972 году, в Мюнхене).

Потом книги новых стихов издавались уже регулярно и без проблем, чуть ли не каждый год.

Дивиш писал стихи непрерывно.

В стихах из сборника «Лжа» как раз и высказана или скорее выхаркана, как это свойственно Дивишу, непосредственная его реакция на Вторжение, прямым свидетелем и очевидцем которого он оказался самым буквальным образом, оттаскивая от колонны иноземной бронетехники, уже вступившей в предместье Праги, своего маленького сына Мартина, глазеющего на солдатиков («Teorie spolehlivosti»).

Случилось так, что как раз Иван Дивиш стал одним из немногих творческих людей Чехословакии, который зафиксировал события самого первого дня Вторжения и даже его кануна, подробно описав в дневнике свою жизнь в течение одних суток, 20–21 августа 1968 года. Входящим в Глоубетин, бывший тогда далекой окраиной Праги (теперь здесь станция метро), советским танкам Дивиш со свойственной ему горькой иронией тут же дал название «оккупашей», кажется, сознательно вызывая у принудительно знакомого с советской литературой чешского читателя аллюзию к образу русских «мальчишей-кибальчишей».

Впрочем, первый советский солдат, которого Дивиш увидел в башне танка, загородившего собой узкую средневековую Целетную улицу в центре Праги, «не был русским, был это татарин, азиат, и в ту минуту *стало и перестало быть то, что должно было стать,* как говорил Эмануэл Радл[1], то есть было во мне в ту минуту вот что: вскочить на тот танк и обнять того человека в башне, и сказать ему: дружище, браток! во имя Христово! нехорошо ты поступаешь, плохо ты поступаешь! люби врага своего! Это было то мистическое мгновение, которое везде и постоянно с нами, но христианство им, этим мгновением, этой минутой, не занимается! И да, минута эта ушла, уплыла, и снова мы были те, прежние, грешные и пьяные, те ветхие, которые не во

имя Христово, и повернулись мы и пошли в никуда, прочь, в ничто, беспомощные и абсолютно без сил». («Teorie spolehlivosti»).

Исходя из этой записи Дивиша, можно считать, что вот эти строчки из книги «Лжа» (текст VI)

> Это вы были, кто вдоль корешка разодрал Писание
> и думал, что тем самым его отменит

он написал, имея в виду не только «оккупашей», хотя, конечно, и их тоже, но в основном своих соотечественников, погрязших в «беспомощности и бессилии», лишенных библейского гнева и библейской откровенности, преданных и своей Церковью, которая не выступила открыто против Вторжения и не призвала к выходу на площадь.

Поэт знал, о чем говорит. Еще в поэме «Танатея», написанной за год до Вторжения, он бескомпромиссно высказался о своих современниках и всем своем поколении, жизнь которого неминуемо должна была вылиться в «беспомощность и бессилие»:

> Всё что мы могли Танатея
> это ловить с поличным обезьяну в зеркале
> и представлять свидетельства об этом
> запечатанные плевком
>
> Всё на что мы были способны Танатея
> это материться убивая собственную любовь
> лаская пестуя и славя при свечах
> ненависть
>
> Всё что мы сумели сделать Танатея
> это размножить наши потребности
> подобно мухам облепившим лампочку
> в привокзальном буфете города Волос-на-Помойке

События 1968–1969 годов вошли в медитативных дневниках Дивиша в тот раздел, который при издательском отборе текстов получил рабочее название «Finis Bohemiae» [«Конец Чехии»].

Деспотия

> Деспотия руководит спряжением глаголов:
> знает только такие его виды Замордовала
> Замордую Мордовать буду.

Деспотия выделяет точно
человека с растерянным лицом и человека
с растерзанными внутренностями.

Обоих она замуровывает в забвенье.
Деспотия отходчива: дальше всего она заходит,
когда у нее полные штаны,
и преходяща: длится уже целую вечность,
а переходит к оружию последней марки:
сеет дубиной, пашет бумерангом,
и все с ней будет в порядке:
вулкан плюнет за сто лет раз
и погребет три культуры
а там и это ничто.

«Я этому свидетель, и, если бы я не сказал это…»

Я этому свидетель, и, если бы я не сказал это,
сын бы мне плюнул в глаза и остаток жизни,
отпущенной мне, был бы изгажен.
Я этому свидетель, и то, что я рассчитываюсь с вами,
такая же правда, как то,
что думаю я уже только о Боге.
Я этому свидетель и не жажду мести,
иначе мне пришлось бы сойти с ума, взращивая ее,
а остаток души,
исписанный Бог знает каким вариантом
попыток примиренья,
пришлось бы мне разорвать в клочья.
Но я этому свидетель, так что вначале
человек цельный,
всем этим я был расщеплен на пьяницу в обносках
и на стремящегося к свету,
на того, кто одной рукой принимает дар,
а другой рукой готов швырнуть камень.
Я этому свидетель, я видел этих бесов,
и это такая же правда, как то,
что возможность что-то изменить
или оставить неизменным
за пределом моих возможностей.

«Никто уже не поверит ни единому вашему слову…»

Никто уже не поверит ни единому вашему слову,
первобытный звук ворочается в ваших дырах,
сползает
по скользкой наклонной в выгребную яму
и там, в клубке, волохается с волками.
Хотя волк-то благороден! сегодня вы мне снились —
чумной бактериальный фарш в кишечных
километрах,
из ниоткуда в никуда валил и мучал меня кошмар.
Так вот ваш образ! а еще
вы как мокрицы, когда отваливаю камень
у высохшего колодца,
и они, ослепленные солнцем ползут врассыпную.
У Бога множество непостижимых подобий,
но ваши я знаю как свои пять пальцев
и потому с вами все ясно.
Вы жутко одиноки!
так глубоко зашло ваше изгойство,
что вам плевать уже на всё,
и вы дрочите на сожженный лес,
по берегам быстрин дубасите форелей,
не держите огонь в костре,
оставляете за собой лишь Каинову чадащую гарь.
Всё вам позволено! За вами — Молох.
А жизнь вы отняли у нас. Но и в том, что осталось,
мы должны были выжить.

«Святой Иероним, пробуди льва, ссуди мне язык…»

Святой Иероним, пробуди льва, ссуди мне язык[2],
вырежь его у себя, вложи его в дупло моих уст,
смети стихи, сбрось в пекло
всю эту болтовню.
Изгони паука с потолка склепа,
изогнутого напряженным глумленьем.
Пробуди льва, вооружи меня когтем,
преобрази меня в нечеловеческое,
в призрак, который кончает и начинает.
Ты, носитель базовой харизмы, ссуди мне язык,
которым я сотворил бы ближних опять ближними,
которым я смог бы поставить их пред лице ангела.

«Со мною это тоже было так, что лучше б я повесился…»

Со мною это тоже было так, что лучше б я повесился
в подвале собственного дома,
ну и нашли б меня там дней через пять-десять.
Со мною это тоже было так, что трижды проворонил
собственную гибель
и вновь был осужден на жизнь, а жизнь эта
лишь длящаяся смерть.
И я тоже вламывался осколками стекла
в собственную кровь,
и всё это было мне до фени, ведь за этой гнусью
я чуял сон,
единственное, что у меня оставалось,
чтоб и это у меня взяли,
чтоб на следующий день очнулся я в аду без фигур.
И я тоже обжил умом лишь обломок вселенной
и после долгого блужданья не пришел никуда,
повезло только вот в это место.
Но и во мне не угасла, нет, не угасла тяга
покончить с этой изувеченной жизнью, послать
этот устроенный нам обман,
кричать, не переставая: Ложь!
Смертельная гнусная ложь!
Ведь и в меня тоже вмонтирован золотой крест
так прочно, что его не вырвет
никакое будущее страданье,
крест, усыпанный драгоценными камнями,
крест моего отца,
он прекрасен,
ведь и я был озарён и никогда не переставал верить,
что этот ад свидетельствует о Рае.

Большевикам

Уже ничего ни от чего ни от потопа ни от позора
лишь пара книг которые нравились М*а*хе[3],
взгляд сына, лестница в голове,
отрава совокуплений, осколок песни смычка, но вы
вы и всё это поспеете изгадить

и наши плачи и причитанья
пустите в желоба как полезный уксус.

11 марта 1977

Изгнание IV

…где, когда опять навалятся весенние дни,
изойдешь потом спрашивая себя
в чем разница между сиренью русской
и сиренью советской.
Где батарейки высаживают изначально
чтобы крутить назад
твою динамо-машину, где,
когда проходишь под аркой
в конце тебя возносит мочегром с ясного неба
где не с кем поговорить, где зато можешь молоть
языком как хоккейкой в конце третьего периода
когда нет уже времени! в котором ночная бабочка
могла бы раскинуть крылья
стремительного созреванья
где дефицит стройматериалов,
зато есть груды сырой глины
которой набивают Голема, где ждешь
откуда опять прилетит это свинство —
шведское ядро
и выбьет у тебя из рук учебник чешского языка
переплетенный в кожу,
как оно выбило его из рук Бальбина[4]
где уже только клянешь всё на свете,
понимая при этом,
что и за говно будешь держаться
как вошь за подштанники…

15 мая 1977

Псалом 58

Я была с тобою в купе мы пошли
в вагон-ресторан там было полно вишен

и выпалили все обоймы
Я наклонилась к нему
А у тебя вся кровь отхлынула от лица
и хлынула в область таза

Не отрицаю мы ехали в Китай
я держала в руке толстенный
кошель полный юаней

Мы доехали до Шанхая
и там сразу же потеряли
один другого

О наших детях позаботилась северная степь
разбитая табунами
коней которых пекут потом по углам юрт

Проклял я жизнь проклял Бога
и то и другое обдуманно
в пользу поэзии
то есть существованья
выдернутого из петли

Псалом 97

Когда Россия убивала Бориса Пильняка
в чьей-то комнате с потолка
обвалилась отставшая розовая штукатурка

Менеджеры на Западе ловили кайф:
в мозгу мармелад
перед домом газон из стриженных долларов

Когда наганом по затылку
Россия вырубила Мандельштама —
в Праге, пританцовывая шимми[5]
в полосатых брючках
Тейге разминал бёдра[6]
Когда Берт Брехтик[7] рыскал в поисках пиздёнки
циркули уже раскручивали Освенцим
Поэтисты[8] сражались со столиками в кафе
блевали манифестами
и не зная износа употребляли жизнь

Были у нас дети теперь уж у нас их нет
куда же как вы думаете они подевались
спросим Эдисона
того самого с мастеровитыми ручками
спросим его а не могли бы вы нам изобрести
крюк в потолке

«Джон Китс и Перси Биши Шелли…»

Джон Китс и Перси Биши Шелли
отдыхают рядом на протестантском кладбище
в Риме[9]
и я лежу с ними и между ними,
с ними в символическом смысле слова
между ними — в самом прямом…

20. IX.1996

Сергей Магид
Отчет за август
Рассказ

Я соскальзываю в башню последней машины и закрываю люк. Стальной блин падает с лязгом, едва не придавив мне пальцы.

Включаю рацию. Зеленый огонек подсветки заливает шкалу. Нахожу цифры на основной частоте, потом фиксирую запасную.

Сеновал готов, говорю я в эфир, расстегивая, наконец, воротничок гимнастерки.

Никто меня теперь не видит. Я здесь старший.

По частоте идут подтверждения.

Семафор готов.

Бункер готов.

Конденсатор готов.

Выходим с аэродрома, говорю я вниз.

Взревывают двигатели. Все сотрясается внутри. Лязг, рычание, скрежет. Кто-то матерится у меня в наушниках. Трогаемся сразу, словно нам дали пинка под зад.

Духотища Сплошной рев с подвыванием и кашлем. Очень тесно. Железо вокруг. Не представляю, как здесь может размещаться экипаж из четырех мужиков.

Все время обо что-то стукаюсь. Шлемофон мне не положен. Я, видите ли, не из их части. Башку надо беречь. На это у меня уходит все внимание в первые полчаса.

Танк качает с передка на корму, как тяжелую баржу на речной волне. Водитель пашет. Пусть он пашет, я здесь человек случайный.

Сеновал, я Хутор, как меня слышишь, прием? — вопрошает на всю Вселенную голос Рыбы.

Я резко поворачиваю щербатое колесико громкости.

Чего орешь как резаный? — говорю я, подпрыгивая на жестком сиденье и пару раз въехав себе микрофоном по губам.

Я не ору, говорит Рыба, это ты орешь.

Рассказывай. Идем-то куда?

А хер его знает, говорит Рыба.

Что-то щелкает. Этого и следовало ожидать.

Сеновал, Хутор, я Банкет, блеет родной голос со станции контроля, посторонние разговоры будете вести на губе.

Вас понял, отзывается Рыба, конец связи.

Эй, Рыба, Рыба, кричу я, узнаешь чего, звякни.

Танк встряхивает. Ударяюсь плечом о рукоять пулемета Мой

мат уносится в операционный эфир. Переключаю тумблер на нейтралку, чтобы не слышать вопли со станции контроля. Там у нас заседает Баран. Дивизионного масштаба.

Запрещено открывать люки. Запрещено высовываться. В башне зеленая тьма Горит только глазок моей стовосьмерки. Внизу, у водителя, бегают по бронированным плитам отсветы с панели управления. Иногда там вспыхивает белым огнем. Свет фар отражается от дорожных знаков и проникает внутрь через смотровую щель.

Надо бы хоть надписи читать, чтоб сориентироваться, но я не могу бросить рацию. Водитель молчит. Эти пижоны из танкового батальона большой симпатии у меня не вызывают. Краса и гордость бронеконсервных сил. Я у них тоже.

Трясет так, словно под нами карельские валуны. Хотя идем явно по шоссе. Воняет соляркой, горячим железом, еще какой-то кислой дрянью, которой всегда несет от аккумуляторных батарей и стволов орудий.

Воображаю себе, как Рыба там подтягивает колени к подбородку.

Позавчера, на Карельском, нас выстраивают на плацу и зачитывают приказ. Двое радистов первого класса командируются в Казахстан. На маневры. В курилке Рыба рассуждает о том, есть ли в Чехословакии американские сигареты. Я говорю, да, или табак «Вирджиния», но лучше сидеть дома и курить «Беломорканал». А Рыба говорит, я пижон, но хотел бы он увидеть меня с трубкой в зубах на фоне каких-нибудь Татр или что там у них.

Вчера нас сваливают на аэродром в Белоруссии и зачитывают новый приказ. О братьях-коммунистах, братьях по Варшавскому договору и братьях-славянах вообще, которых мы для чего в сорок пятом освободили? Не для того, чтобы войска бундесвера и так далее. А Рыба переходит на кока-колу и пластинки битлов.

Я говорю, на мир мы, конечно, поглядим, и это здорово, но ведь и себя наверняка покажем, а вот это совсем ни к чему. Но Рыба говорит, наше дело сказать «есть» и ничего не делать, да и потом мы же им хорошего хотим. Да, говорю я, социализма с нечеловеческим лицом. Да брось, говорит Рыба, просто развитого. А я говорю, свобода прежде всего. Не знаю, говорит Рыба, в руках не держал.

«Антеи» уже прогревают двигатели.

Ладно, говорит Рыба, держимся вместе, а на приказы пазульные кладем, зарыто? Зарыто, говорю я, только там одни пазульные и будут, но, может, действительно достанем что, например, «Желтую подводную лодку», а? Или «Ночь после

тяжелого дня» добавляет Рыба Вот это, скорей всего, говорю я, и мы ржем как идиоты.

В самолете мы не говорим друг другу ни слова И ждем, как и все остальные. А перед самой посадкой, надо же такое ляпнуть, вот если собьют сейчас, говорит Рыба, то правильно сделают.

Но здесь даже посадочные не думают закрывать. Садимся мы как в сено.

Трясет уже часа два В банке становится гораздо светлей. И даже чуть холодком откуда-то веет.

Сеновал, всплывает Рыба, я тут буковки вижу.

Ну, говорю я, наконец-то. По-казахски читаешь?

Свободно, говорит Рыба, английский алфавит изучали.

Диктуй, говорю, трепло, пока Баран не проснулся.

А написано-то по-русски, говорит Рыба.

Это как?

Да так. Позор[10] здесь написано.

Не может быть, говорю я, уже?

Все может быть, говорит Рыба. А ты чего вообще-то ждал? Позор влак[11].

Это он мне теперь говорит. Чего я ждал. Ладно.

Может, волк? — говорю я.

Влак, что я читать не умею?

А что это?

Это я тебя хочу спросить, ты у нас ученый, говорит Рыба.

Ты не на меня злись, говорю я. Эй, друг, видишь там чего-нибудь? — кричу я водителю, нагнувшись к нему из башни.

Железка, вроде, кричит тот с грузинским акцентом.

А может, с армянским. Даже сквозь рев двигателя слышен этот акцент. Этого еще не хватало.

Мы вроде как спускаемся с холма и переваливаем через железнодорожный переезд, насколько я могу судить своей задницей. И встаем, хотя команды остановиться не было.

Хутор, что там? — кричу я в микрофон.

На хуторе, видно, сено убирают, так долго там шуршит, потом Рыба произносит какое-то слово с латинским окончанием.

Повтори, мудила, кричу я.

Да демонстрация, мудила, говорит Рыба.

Что сказал? — спрашивает снизу водитель.

Местное население встречает, кричу я сверху.

Зачем орешь, дорогой, говорит водитель, у меня слух хороший.

Только тут я начинаю слышать тишину. Внутри и снаружи.

Эй, кацо, говорит водитель, меня Гоги зовут, а тебя?

Я отвечаю.

Так чего ждешь? — спрашивает Гоги. Открой башенный, погляди.

Я поворачиваю рычаг до упора и откидываю тяжелый стальной блин. От яркого света ударяющего в нашу утробу, я зажмуриваюсь. Белое небо. Сладко пахнет яблоками.

Мама моя, говорит Гоги.

Я высовываюсь по пояс. Стальной блин прикрывает мне спину.

Цепочка из девяти танков стоит на шоссе. По обеим его сторонам уходят вперед, сужаясь, две шеренги аккуратных деревьев, увешанных крупными зелеными плодами.

Вдали толпятся люди. Штатские вроде. Над головами висит белый транспарант, покачиваясь. Я не могу разглядеть, что там написано.

Бинокля нет у тебя? — говорю я вниз.

А девочки есть? — спрашивает водитель и протягивает штатную гляделку.

Пока не вижу, говорю я.

А что видишь?

Херню какую-то, говорю я, крутя колесики и ловя контраст.

На транспаранте написано корявыми черными буквами «NBAH NRN ДОМОЙ».

Домой просят уйти, говорю я.

Кого? — спрашивает Гоги.

Какого-то Ивана.

Давно пора, спокойно замечает Гоги. Теперь на каком языке просят?

Им кажется, что по-русски.

У нас в батальоне ни одного Ивана нет, говорит Гоги. А Гоги они ничего не просят?

Пойди, узнай, говорю я, девчонок там полно. Смеются.

Ладно, говорит Гоги, значит не просят.

Сеновал, я Банкет, как ситуация в арьергарде? — появляется в эфире Баран.

Я оборачиваюсь и разбиваю локоть о крышку люка Пауза в эфире.

Сеновал, слышите меня?

Сзади пусто. Шоссе поднимается на холм. На вершине холма машина Человек в машине. Как в императорской ложе. Седой, в очках, курит сигарету. Я подкручиваю бинокль. Да он там пишет.

Сеновал, спите?

Никого нет, товарищ капитан.

Вам память отшибло, Сеновал? Никаких должностей и званий! Повторите!

Никаких должностей и званий, товарищ Банкет! По периметру наблюдения посторонних объектов не обнаружено!

Раздолбай, говорит Баран. Продолжайте наблюдение.

По всей колонне над откинутыми крышками башенных люков торчат верхушки шлемофонов. Головы в них продолжают наблюдение.

Гоги высовывает голову в шлемофоне из смотрового люка, но ничего, кроме кормы переднего танка, увидеть не может.

Слушай, кацо, какие там девочки, а? — спрашивает он.

Иди в жопу, Гоги, говорю я.

На что намекаешь, слушай? — говорит Гоги.

Это русская идиома, Гоги, говорю я. Она не имеет буквального смысла.

Вот хорошо сказал, говорит Гоги. Я бы купался сейчас в Миха Цхакая и забот не знал, если б не эта идиома ваша.

Я отрываю глаза от бинокля и смотрю вниз, на голову в шлемофоне. Неплохой каламбур для водителя танка Или это не каламбур?

Не заводись, Гоги, говорю я, снова разглядывая писателя, я-то не русский.

Через секунду Гоги возникает в башне и дергает меня за сапог.

Эй, кацо, дай-ка я на тебя поближе гляну.

Я смотрю на него сверху вниз. Если что, двину его сапогом по сопатке. Только кто потом рычаги будет дергать.

Гоги очень серьезно смотрит на меня.

Друг, говорит он, друг, мы же с тобой одной крови. Ты ашкенази, мама моя?

Ну, в прошлом возможно, говорю я не сразу. А ты?

Грузинский я, бьет себя Гоги в грудь здоровенным кулаком. Эбраэли я. Наш род по всей Грузии известен. Надо же, одна кровь. Куда попали, слушай, куда попали? Идиома, а?

Нет, это он вполне серьезно.

А в паспорте у тебя что? — спрашиваю я.

Как что, дорогой, грузин, конечно. Живем-то всем родом в Грузии.

Хорошо вы там устроились, в Миха Цхакая, говорю я.

Почему так говоришь, слушай? Почему устроились?

Шучу, говорю я. Ты бы в Питере пожил. С этой своей кровью и со своим родом.

Так плохо, дорогой?

Да нет, терпимо.

Русские обижают?

Я смеюсь.

Почему смеешься? Я что смешного сказал? Нас никто обидеть не может. Наш род, как крепость. Как Кавказский хребет.

Слушай, Гоги, говорю я, откуда ты такой взялся?

А какой я?

Да дикий ты, как Кавказский хребет.

Грубо говоришь, слушай, говорит Гоги, помолчав. Совсем ты идиом, дорогой. Задурили тебе голову руси.

Лицо у него краснеет, черные усики топорщатся над красивой губой.

Ладно, Гоги, говорю я, хорош, посмеялись.

Он смотрит на меня, потом резко отворачивается и лезет назад к своим рычагам. Кавказский хребет в сердце Европы.

В наушниках у меня на шее оживает Рыба.

Продолжаем движение, говорит он.

Куда? — спрашиваю я. Они же стоят.

Белый транспарант со смешным алфавитом полощется там, в голове колонны. Стальные блины башен все так же откинуты. Над ними торчат черные шары шлемофонов.

В голове колонны уже начинается чихание выхлопов. Очень интересно.

Я оборачиваюсь.

Писатель курит очередную сигарету на вершине холма.

Я протягиваю руку вниз и за ствол вытягиваю на свет божий свой АКМ.

Что сказал? — кричит снизу Гоги.

Сейчас поедем, говорю я.

Тоже помирились с Иваном? — спрашивает Гоги.

Черта лысого, говорю я, упирая приклад в плечо.

Что говоришь, слушай? — кричит Гоги. Что там делаешь?

Да отцепись ты, говорю я.

Сеновал, я Хутор, бьет плавниками Рыба, подтвердите прием.

Я останавливаю мушку посредине ветрового стекла Без бинокля я вижу только белое пятно, но мне и этого хватит.

Странное чувство, властвовать над чужой жизнью.

Нет, ни хрена не видит. Не замечает таких мелочей. А что мне делать, кричать не пиши, не надо?

Чего молчишь, Стропило? — кричит Рыба, нарушая дисциплину в эфире.

Я вешаю автомат на плечо, а наушники на уши.

Продолжаем движение, говорю я, ну, что тебе еще?

Головной трогается. Транспарант чуть отступает, медленно пятится, но стоит. Толчок прокатывается по колонне. Она сокращается, как сглотнувший удав, и выпрямляется снова Взрыв криков впереди. Кричат вроде по-нашему. Нет, не могу разобрать.

Гоги, трогай, говорю я вниз. Держи дистанцию, не суетись.

Гоги молчит, но банка чихает и вздрагивает. Я хватаюсь за края люка Дергаемся. Раз, другой. Почему они не могут начинать плавно. Всегда эти судороги. Меня бросает грудью на железо. Транспарант кренится перед головной машиной, один его край заваливается все больше, бегущие по правой обочине отстают от тех, кто бежит по левой. Что в середине, не вижу. Колонна заслоняет обзор.

Падает.

Чистое небо в конце дороги, там, где она упирается в холмистый горизонт.

За деревьями, по обеим сторонам, на сжатом поле машины, велосипеды, слева один автобус.

Полно народу. Все кричат, показывают кулаки, латинскую букву «В», сложенную из двух пальцев, поднятых над головой. Бегут по шоссе рядом с танками.

Мы еще не поравнялись с ними.

Гоги все больше отстает.

Газуй, кричу я вниз, газуй, не оставляй просвет.

Он ничего не слышит. Естественно. Шлемофон пожалели, козлы.

Рыба, что там случилось? — кричу я в микрофон.

Сеновал, я Хутор, продолжаем движение, мертвым голосом говорит Рыба.

Толчок, я снова лечу на железо.

Впереди, у правой обочины, возня. То ли выносят кого, то ли подбирают что-то. Не вижу.

Я вообще сюда не просился.

Рев толпы уже рядом.

Только тут замечаю, что передний танк укатил метров на пятьдесят.

В просвете между нами люди. Искаженные лица Раскрытые рты.

Карабкаются на броню.

Гоги, скотина, что ж ты не телешься!

Один уже под башней. Орет хайль. Странно как-то орет. Получается хайлэ.

Все они там фашисты, говорит моя мать, не верю им, никогда не поверю.

Обеими руками держусь за края люка.

Такие же как немцы, говорит моя мать, те убивали, эти выдавали.

Лицо внизу, подо мной, совсем близко. Красные прыщи, челка, мокрый лоб. Нет, это не хайль. Что-то слюнявое на слух,

змеиное что-то.

Хайзл! Вот что он кричит мне в лицо. Ты хайзлэ йеден![12]

Никаких ассоциаций. Мои филологические мозги крутятся отдельно от меня. Что-то там вспоминают. Проворачивают лингвистические пласты. Нет, никаких ассоциаций.

Ховно!

Ага, вот это ясно. Ну, еще. Я смотрю на него. Пустые глаза Тянет руку к моей руке. Внизу другое лицо. Там мужик покоренастей. Лезет молча, угрюмо. Танк на танк. За ним девчонки в джинсах. Две. Нет, три. Ну это уж свинство.

Хватаю парня сверху за воротник рубашки.

Армия ваша где? — кричу я. Где армия?

Ничего не соображает. Сталкиваю его с брони. Он легкий и не сопротивляется. Я чувствую, он тоже боится. За ним вымахивает мужик, заросший как битник. Я тоже так ходил до призыва Этот молчит. Я встречаюсь с его глазами. Ныряю в люк, рванув за собой стальную крышку. Она падает с грохотом. В невероятно долгом просвете между белым и черным застывает разверстый рот в рыжей бороде, успевающий крикнуть: «Убийца!»

Гоги, кричу я, что ж ты, салага? Двигай!

Я сваливаюсь к нему из башни.

Гоги сидит как истукан.

Перед ним в смотровой щели чье-то лицо, губы двигаются.

Канаем отсюда! — кричу я.

Гоги рвет на себя рычаг.

Грохот, рев, лязганье.

Мы, как всегда, дергаемся.

Лицо исчезает. Я вижу чужую ладонь, судорожно ищущую опору.

Крути, Гоги, крути! — кричу я, тряся его за плечо.

Мозг мой, зависший в каком-то ледяном пространстве, отмечает: истерика.

Плевать, потом разберемся.

Гоги работает обеими руками.

Вперед-назад, назад-вперед.

Но мы не двигаемся.

Только тут я осознаю, что он кричал это по-русски. Хорошо кричал, с нужной интонацией и без акцента.

Это я, что ли, убийца?

Мы сотрясаемся словно в родовых корчах.

Боится, гад, двинуть на полной, боится по-живому, я тоже боюсь. С лязгом вздымается стальной блин над моей головой.

О Боже, рычаг-то я не довернул!

Медленно, с натугой, растет просвет. Обнажается белое

бесстыжее небо. Его заслоняет огромная голова Я молча и остервенело тыкаю Гоги кулаком в затылок. За приклад стягиваю к себе АКМ, передергиваю затвор.

Сумасшедшие глаза смотрят на меня очень долго. Потом исчезают вместе с головой.

Пустое небо.

Я вскакиваю на сиденье, задевая стволом стовосьмерку. Ввинчиваюсь в эту пустоту. Провод наушников тянется за мной как крысиный хвост.

Рыжий все еще на броне.

За ним девчонка Еще кто-то.

Слышу крик за спиной. Опять тот же позор.

Я давлю на себя курок, долгой очередью кромсая воздух.

Девчонка прыгает на асфальт, падает. За ней спрыгивает рыжий.

Грохочущий треск у меня в ушах. Вспышки огня перед глазами. Над правым ухом свистят гильзы. Указательный палец немеет. В ключице боль. Не знаю, сколько все это длится. Асфальт перед нами свободен. Я чувствую, что охрип.

Танк с лязгом дергается. Меня опять бросает на железо. Люди высовываются из придорожных канав, продолжая кричать, вздымая руки, в которых нет оружия, ах как жаль, что нет оружия.

Гоги набирает наконец скорость. Мы быстро нагоняем колонну. Я думал, они бросили нас, но они стоят. Все это время они, оказывается, стоят. Какое время? Сколько его прошло? Снова люди, там, впереди, еще плотней и гуще. Когда же конец, Господи!

Стропило! — слышу вдруг Рыбу у себя на шее, понимая, что давно уже его слышу, ты что там палишь! Это ты там палишь?!

Я, говорю я.

Спятил? — дрожит голос Рыбы.

Сеновал, Хутор, я Банкет, отставить разговоры, предупредительный огонь колонне, прием.

Где-то очень далеко заунывно и тоненько пукает морзянка. Автоматически считываю цифры. Пять, девять, три, пять, четыре, один, сбиваюсь. Пять, девять, три, снова сбиваюсь.

Вас понял, говорит наконец Рыба. Предупредительный огонь колонне.

Они уже разбежались, товарищ капитан, говорю я.

Пять суток строгого!

Так нет же никого, кричу я.

Десять строгого, Сеновал!

Вас понял, говорю я. Предупредительный огонь по колонне.

Сеновал, я вас за яйца повешу! — кричит Баран, но крик его

тонет в грохоте и треске.

Колонна окутывается дымом. Хвосты пламени летят друг за другом в голое небо, к холмам на горизонте, над распахнутой равниной. Впереди кто-то сажает из зенитного пулемета С сумасшедшей скоростью рубит дрова крупнокалиберный. Из банки перед нами палят трассирующими. Красные, зеленые, оранжевые пунктиры шьют воздух. Потрясающее зрелище. При свете солнца это выглядит как оружие марсиан. Смотреть на это страшно. Летят первые ветки яблонь. Их срезает мгновенно и на одном уровне, словно сдергивает невидимой петлей.

Башни поворачиваются. Стволы нащупывают добычу по обочинам и застывают.

Кто-то прижимает меня к краю люка.

Опять не своим делом занимаешься? Куда? — кричу я.

Что делают? — кричит Гоги. Что делают?

С контрреволюцией борются, не видишь? — кричу я.

Гоги вдруг лупит кулаком по броне, от боли матерится по-русски.

Тупой короткий удар накрывает нам уши. Мы инстинктивно приседаем.

Автобус взлетает над деревьями. Очень медленно. Отдельно от него летят дверцы, колесо, несколько сидений. Пустых.

Гоги молча сваливается в башню.

Во рту у меня совершенно сухо.

Это что, война или что?

Горящий остов автобуса падает в поле. Тишина Просто ни звука.

Автобус горит бесшумно.

Дорога перед нами чиста Позади нас тоже. На поле пусто.

Колонна стоит в полном молчании. Дым висит над башнями.

Яблони куцы и оборваны. Все валяется на асфальте.

Пахнет кислым. Пахнет все сильней.

Куда делся народ, не вижу. Попали в кого, не попали, не вижу. Ничего не вижу. Глаза слезятся от кислой гари.

Сеновал, я Хутор, продолжаем движение, брюхом кверху всплывает в эфире Рыба.

Хутор, я Сеновал, продолжаем движение, говорю я. Свой голос я тоже не узнаю.

Мы трогаемся мгновенно. Без обычных судорог. Уносим ноги. Гусеницы. Туши. Колонна быстро набирает скорость.

На бороздах, тут и там, поднимаются головы. Кто-то привстает на четвереньках. Один застыл вдали на полусогнутых, как суслик.

Ревут машины. Голосов нет.

Велосипеды стоят кучками, прислонившись друг к другу, как брошенные телята Автомобили с распахнутыми дверцами. Те, что ближе к автобусу, без стекол. У одного сорвана крышка с капота Автобус пылает. Что там может гореть так долго?

Я держусь за стальной блин, смотрю, как уползает за нами дорога.

В клочья изорванный, изодранный транспарант грязными лохмотьями пластается по шоссе. Уходит назад бесконечная лестница из коротких ступенек, врезанных в асфальт гусеницами. Крошево из яблок.

Горящий автобус уплывает все дальше.

Из-за деревьев там появляются люди. Они выходят медленно.

Я смотрю на них, уже не различая лиц. Над головами вновь вздымаются кулаки.

Тут я спохватываюсь и подношу к глазам бинокль. Холм еще виден. И машина видна Она стоит все там же. Но человека мне уже не разглядеть. Никогда.

В ушах у меня непрерывный гул. По лбу и вискам стекают капельки пота Я стягиваю пилотку, вытираю ею лицо. Смотрю на часы. Все еще утро. Небо синеет, на нем ни облачка. Но мне кажется, что уже вечер. Рыба молчит. Баран молчит. Все молчат. Рев разносится по окрестностям. Эхом оседает в игрушечных рощах, мимо которых мы проходим.

Через час, у въезда в военный городок местной армии, колонна останавливается. Перед КПП стоят солдаты в чужой коричневой форме. Куртки расстегнуты. У многих пилотки под погоном. Оружия не вижу. Ага, вон у одного штык в ножнах на ремне. Но он курит сигарету и не похож на дневального. Другой стоит в домашних тапочках на босу ногу. В расхристанной до пояса рубашке светло-салатного цвета. На груди, на длинной цепочке, здоровенный крест. Христианин. Живой. Вот так, запросто. В армии. Чего же они еще хотят? Смотрит на меня. Без улыбки. А некоторые улыбаются. Оркестра, правда, нет. Но, видно, вот-вот вынесут ключи на шелковой подушечке. И вручат нашему комбату. Может, еще и спасибо скажут.

Я выбираюсь на броню и спрыгиваю на землю. Ноги подгибаются. Слишком твердо под ними.

Из смотрового люка долго вылезает Гоги. Он весь черный. Такое впечатление, что щетина растет у него не по дням, а по километрам.

Он молча подходит ко мне.

Без размаха бьет меня кулаком по губам. Я отшатываюсь, едва не падая.

Это тебе за салагу, говорит Гоги.

Я вытираю рот. На тыльной стороне ладони кровь. Поднимаю глаза и вижу, как парень со штыком показывает на нас пальцем, что-то говоря своему товарищу. Оборачиваются еще несколько солдат. Смотрят, смеются. Они еще и смеются.

Быть бы тебе в нерусском плену, Гоги, если бы не я, говорю я.

Было бы лучше, кацо, говорит Гоги. Мама моя, было бы лучше.

Он отворачивается и идет к танку. Садится на землю, откинувшись спиной на передок. Смотрит мимо меня.

Мы же с тобой одной крови, говорю я, плюясь. Твои слова, Гоги.

Иди в жопу, кацо, говорит Гоги. Такая твоя русская идиома?

Я сплевываю кровь. Ищу глазами Рыбу. Нет Рыбы. Не показывается. Сигареты, что ли, пошел стрелять? В обмен на развитой социализм.

С дороги сворачивает ГАЗ-69. Тормозит у нашего танка.

Вылезают двое. С десантными автоматами. Разминают ноги, оглядываются. Не торопясь, идут к нам. Теперь-то куда торопиться. Смотрят на Гоги, сидящего у передка На меня.

Баран — человек чести, как сам он говорит о себе. Надо же, опять держит офицерское слово.

Сдайте оружие, товарищ сержант, говорит старшина.

Ефрейтор заходит сбоку, автомат наперевес.

Осторожней с пушкой, пазула, говорю я.

Ефрейтор делает шаг ко мне, но между нами вдруг возникает Гоги.

В чем дело, генацвали? — говорит он неожиданно дружелюбно. Сержант героем был, что от него хотите?

Имею приказ доставить на гауптвахту, говорит старшина очень спокойно. Отойдите, товарищ танкист, не усложняйте обстановку.

Какая гауптвахта, слушай? — говорит Гоги, стоя между нами. Мы только вчера приехали. Не будь осел, генацвали, не говори глупые слова.

Старшина смотрит на Гоги и морщится.

Отойди, Гоги, говорю я.

Я снимаю с плеча автомат, расстегиваю ремень со штыком и подсумком и протягиваю все это ефрейтору.

Пошли, старшина, говорю я. Да скажи молодому, чтоб автомат убрал, а то до дембеля не доживет.

Гоги смотрит на меня почти с отчаянием. Он, видно, и в самом деле хотел меня спасти.

Мы подаем друг другу руки. Одновременно.

Мы с тобой одной крови, ты и я, говорю я ему. Приедешь

домой, почитай Книгу джунглей.

Гоги молчит. Рукопожатие у него сильное. Я не люблю лягушачьих рук.

Двое бездельников из комендантской роты ведут меня к газику.

Старшина при этом почти по-отечески придерживает меня за плечо.

Ефрейтор забегает вперед и распахивает дверцу.

Эй, друг, кричит Гоги мне в спину, а я читал про Маугли, слушай!

Мы оборачиваемся все трое.

Гоги стоит у своего танка, сунув руки в карманы комбинезона и улыбаясь во весь рот. Зубы у него, оказывается, белоснежные.

Придурок, цедит старшина. А ты пошел, садись.

Он подталкивает меня в спину. Я почти сваливаюсь на заднее сиденье. Там уже сидит ефрейтор.

Ну что, говнюк, говорит он.

Старшина садится рядом со мной и захлопывает дверцу.

Поехали, говорит он водителю.

Комендантский газик заводится с первого оборота, взвыв не хуже танка Мы резко рвем с места Я оборачиваюсь.

Гоги медленно поднимает над головой два пальца, раздвинутые под углом. Он похож на большого грустного черта с маленькими рожками.

Не вертись, говорит старшина. Шею свернешь.

Губу-то уже нашли? — спрашиваю я.

Губа всегда найдется, говорит старшина.

В боковом окне мелькают башни, орудия, стальные блины, откинутые к небу. Темные фигуры на броне. Девять танков, стоящие в затылок друг другу. Издали они выглядят еще страшней.

Что там кричала эта жопа грузинская? — спрашивает ефрейтор.

Сентябрь 1995, Прага

Адам Градилек
Послесловие к чешскому изданию книги Натальи Горбаневской «Полдень» [13]
©Перевод Н. Фальковская

Когда в 2008 году русистка Михаэла Стоилова брала интервью у Натальи Горбаневской в рамках чешского проекта, призванного сохранить воспоминания участников демонстрации на Красной площади в 1968-м, Горбаневская отказалась добавить что-либо к тому, о чем уже сказала в своей книге «Полдень». Это объяснялось не только усталостью от беспрестанного повторения рассказа об одном и том же эпизоде ее жизни или нежеланием возвращаться даже в воспоминаниях в палаты психиатрических больниц, но и недовольством тем, что чехи и словаки вот уже сорок лет не могут издать документ о главной протестной акции против советской оккупации. И корни подобного спокойного упрямства Горбаневской — вовсе не в эгоцентризме. Она никогда не ратовала за создание ореола вокруг собственного участия в акции и всегда старалась привлечь максимум внимания к действиям других советских граждан, отважившихся на протест. Именно это она и делает в книге «Полдень». Ее отказ объясняется, скорее всего, сожалением по поводу того, что чехи «попросту потеряли интерес» к информации о том, кто и почему встал на их сторону и чем за это поплатился.

Нежелание или неспособность чехов и словаков выпустить в свет основополагающий документ о легендарной акции протеста резко контрастирует с той быстротой, с какой удалось в свое время переправить русский оригинал «Полдня» сначала в Чехословакию, а потом — с помощью нынешней публицистки, а тогда студентки Яны Клусаковой — и на Запад.

Яна Клусакова окончила пражский Карлов университет по специальности «богемистика, русистика и эстетика». В 60-е годы она работала в рекламном отделе Центрального кинопроката. Узнав о русскоязычном мюнхенском издательстве, основанном латышским эмигрантом Адальбертом Нейманисом и выпускавшем запрещенную в странах советского блока литературу (произведения Мандельштама, Ахматовой, Пастернака…), Клусакова познакомилась с Нейманисом и стала получать от него книги и возить их своим друзьям в Москву, где в заочной аспирантуре Института искусствознания изучала киноведение. «В чемодане у меня была зубная щетка, немного

белья, а так — сплошные книги. Томики на шелковой бумаге я укладывала в конфетные коробки. Две Библии помещались в картонку из-под карловарских вафель. Радовались им невероятно, ведь русская Библия в последний раз выходила до 1917 года. Еще я посылала книги через разных людей. Однажды в Прагу приехал директор Института искусствознания, который даже не подозревал, что в коробке с сахаром ‘Бридж’ везет моей приятельнице-доценту ‘Раковый корпус’ Солженицына, — вспоминает Клусакова. — В Москве у меня были чудесные приятели, знавшие, что я знакома с Нейманисом. В сентябре 1969-го меня спросили, могу ли я ему кое-что передать. Я никогда не бывала на Западе, но все же сказала, что попробую. Мне дали два микрофильма: ‘Полдень’ Натальи Горбаневской и воспоминания Надежды Мандельштам. Это был верх доверия, рукописи добирались до меня по разным каналам через нескольких проверенных людей. Я тогда была в положении и надеялась, что таможенники не станут меня обыскивать. Положила микрофильмы в карманы своего „беременного“ платья и благополучно перевезла в Чехословакию. Но там возник вопрос, как передать их Нейманису в Германию. Я хорошо знала документалиста Яна Шпату, который как раз собирался ехать в Мюнхен, и решила этим воспользоваться. Купила очередную коробку конфет и спрятала в нее оба микрофильма. Шпата без проблем провез их и отдал Нейманису, который передал микрофильмы в издательство ‘Посев’». Во времена нормализации Яне Клусаковой пришлось уйти из Центрального кинопроката. В 1975 году ее на основании доноса обвинили в контрабанде товаров в СССР и обратно; несколько месяцев она провела в следственной тюрьме в Рузине. Только благодаря стараниям адвоката Отакара Мотейла (после Бархатной революции — политика и омбудсмена), Клусакова получила условный срок.

Спустя полгода после Яны Клусаковой «Полдень» привез в Чехословакию чешский альпинист и инженер-гидростроитель Властимил Шмида. Во время учебы в университете в конце 50-х он познакомился с московскими альпинистами — в основном преподавателями МГУ. Вместе с ними и другими чешскими скалолазами Шмида побывал в нескольких экспедициях (Кавказ, Тянь-Шань…), став одной из самых заметных фигур чешского альпинизма. Но оккупация Чехословакии положила конец этим путешествиям. В 1968 году Властимил Шмида и его товарищ Ян Червинка в знак протеста демонстративно вернули все полученные в Советском Союзе медали. В феврале 1970-го Шмида работал на стройке на Украине и благодаря этому смог снова съездить в Москву. Он навестил своего приятеля-альпиниста

Владимира Назаренко, с которым когда-то бывал в экспедициях на Кавказе. Зашла речь и об оккупации. «Говорили мы шепотом, потому что в панельном доме все было слышно. Назаренко и его жена Елена Арманд слушали меня, не скрывая стыда», — вспоминал Шмида. В конце встречи он получил от них вышедший в самиздате «Полдень» — чтобы в Чехословакии знали, что не все русские согласны с вторжением. «Отец очень нервничал. Вначале он даже не соглашался, чтобы Шмида вез 'Полдень' через границу. Однажды у нас уже был обыск, поэтому отец понимал, какая опасность нам грозит, и старался держаться от политики подальше. Мама же, наоборот, общалась с диссидентами, мы дружили с семьей Константина Бабицкого, протестовавшего на Красной площади», — вспоминает дочь Назаренко Мария. «По частым поездкам в СССР я знал, что таможенники усерднее всего ищут именно литературу. Обычно они закрывали глаза на одежду или другую контрабанду — но только не на литературу. Я боялся и потому завернул книгу в грязное белье. Хотя во время проверки багажа чемодан и открыли, но лишь мельком глянули туда, так что я провез ее в Чехословакию», — рассказывает Шмида, хранивший потом «Полдень» в своей библиотеке в Оломоуце и дававший его читать надежным знакомым. В середине 90-х он подарил книгу библиотеке самиздата «Libri Prohibiti».

Книга «Полдень» — не единственное, что связывало Властимила Шмиду с акцией протеста на Красной площади. Когда десятью годами ранее, в 1958-м, Шмида в Москве неделю ожидал от органов разрешения на экспедицию на Тянь-Шань, он жил у знаменитого профессора математики и любителя гор Бориса Делоне, который еще при царе излазил все Альпы. Его сын Николай был со Шмидой в экспедиции на Кавказе. Сын же Николая Вадим, которому было тогда одиннадцать, обычно сидел с ними за ужином. Спустя десять лет Вадим стал самым молодым участником демонстрации на Красной площади. «Через Назаренко я пытался связаться с Николаем Делоне, чтобы узнать о судьбе его сына Вадима. Несколько раз он ответил мне, но о сыне никогда не упоминал, даже после революции 1989 года», — говорит Шмида.

Благодаря смелости Яны Клусаковой «Полдень» попал к читателям на Западе. Они узнали о деталях акции протеста, о судьбах ее участников и о советском механизме судебных репрессий. Однако в Чехословакии людям пришлось долго дожидаться подробного описания борьбы своих сторонников с тоталитарной властью. Первое короткое упоминание о протесте «части московской интеллигенции» появилось в чехословацкой прессе уже на следующий день после демонстрации, 26 августа

1968 года, когда газета «Руде право» напечатала сообщение об аресте за участие в ней «четырех студентов». Больше удалось узнать из письма Натальи Горбаневской от 28 августа, которое она адресовала западным СМИ, чтобы пояснить, что и внутри СССР общественность не имеет доступа к информации об акции протеста. Письмо вскоре попало в Чехословакию, было вывешено в Карловом университете и потом ходило в списках. Один его экземпляр сохранился в библиотеке «Libri Prohibiti», куда он попал из архива Иржи Ледерера. Другие упоминания о московском протесте появились в связи с судом над участниками демонстрации. Десятого октября 1968 года «Руде право» опубликовало сообщение агентства ТАСС о начале судебного процесса «по делу о нарушении общественного порядка» с перечислением всех подсудимых. В духе начинающейся нормализации газета вторила советской риторике: «Они обвиняются в том, что, собравшись 25 августа в самом центре Москвы, старались привлечь внимание прохожих различными выкриками и иными действиями, оскорбляющими достоинство советских людей». Двенадцатого октября «Руде право» напечатало краткую заметку о приговорах отдельным демонстрантам. В архиве Ледерера сохранилось и открытое письмо советским коллегам от 14 октября, которым Координационный комитет творческих союзов отреагировал на московский суд над демонстрантами. Письмо было перепечатано в «Бюллетене координационного комитета творческих союзов» (ноябрь 1968) с примечанием, что его разослали «всем творческим союзам СССР, а также в редакции газет ‘Известия’, ‘Правда’, ‘Борба’, ‘Унита’, ‘Юманите’ и в Чешское информационное агентство». О том, какое глубокое впечатление демонстрация произвела в Чехословакии, свидетельствует и акция Станции юных туристов из города Градец-Кралове. Ее участники 28 октября 1968 года во время церемонии открытия нового эллинга посадили несколько берез «в память о неизвестных русских друзьях, которые 25 августа 1968 года на Красной площади с невероятной смелостью протестовали против нападения на Чехословакию». В 1990-м организаторы акции так описывали свои чувства: «Невозможно высказать, что тогда для нас значил их поступок. В момент нашего глубочайшего разочарования они своими храбрыми действиями защитили достоинство своих народов и доказали нам, что лучшие из советских граждан понимают нас, что они — с нами». Так что информация об акции протеста, проникая в Чехословакию как по неофициальным, так и по официальным каналам, распространялась среди людей. До конца 80-х память о демонстрации сохранялась среди диссидентов, о чем

свидетельствует, например, документ Хартии 77/43/88 «Выражение настоящей дружбы», напоминавший о событии двадцатилетней давности. Тем более удивительно, что в период нормализации не появился сам-или тамиздатовский перевод «Полдня». И это при том, что в Чехословакии тогда выходили десятки книг российских авторов.

После падения в 1989 году коммунистического режима с демонстрантами встречался президент Вацлав Гавел — во время первого же своего визита в Москву в январе 1990-го. После официальной беседы с Михаилом Горбачевым он встретился не только с участниками демонстрации, но и с другими московскими диссидентами во главе с Еленой Боннэр. Через полгода, в дни годовщины начала оккупации, все оставшиеся в живых участники демонстрации приехали с официальным визитом в Чехословакию. Их переводчицей — как и во время первой поездки Гавела в Москву — была Яна Клусакова, позже рассказывавшая: «Помню, как я ждала их в аэропорту ‘Рузине’, а они слетались со всего света. Это было так трогательно. Они увиделись спустя много лет. Надо было видеть, как они обнимались. Я не забуду этого до конца жизни. В центр нас вез микробус. По дороге все они говорили одновременно — *а помнишь, а представляешь, а сколько у тебя детей?* — и всё друг другу с воодушевлением рассказывали. В микробусе я сказала Наталье, что это я передала ‘Полдень’ на Запад. Она кинулась ко мне со словами: *‘Так это ты, сестричка моя*?!’ Это было замечательно. Помню, как мы потом стояли полукругом у статуи святого Вацлава в центре Праги. Я говорила себе, что есть, наверное, историческая справедливость, раз все мы наконец смогли встретиться».

Тогда же чешский читатель смог впервые познакомиться с частью текста «Полдня». Летом 1990-го молодой русист Томаш Кафка выбрал, перевел и снабдил примечаниями отрывки из книги, которые под названием «Закон» печатались с продолжением в трех номерах журнала «Литерарни новины» (№ 21–23).

Во время пребывания советских диссидентов в Чехословакии режиссером И. Стахой был снят получасовой фильм, посвященный их акции протеста. Фильм назывался «Семеро смелых», над его сценарием вместе с Боженой Йирку работала и Яна Клусакова.

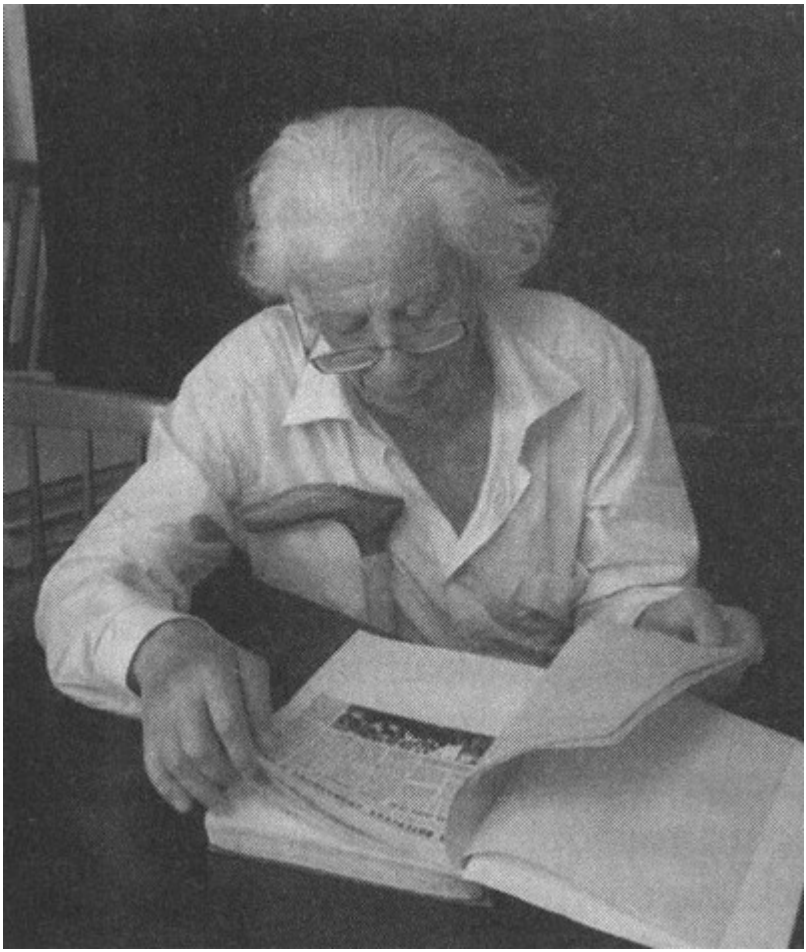
Наши издатели положили начало выпуску литературы, посвященной судьбам московских диссидентов, которые имели отношение к протесту против оккупации Чехословакии, в 1990 году, когда в чешском переводе появилась книга Анатолия

Марченко «Живи как все». Несмотря на приложенные старания, тогда так и не удалось найти издателя для «Полдня». А затем чехи и словаки словно бы забыли о своих отважных защитниках. Дружеские отношения с ними поддерживали лишь отдельные люди. Новая волна интереса к их судьбам возникла только через восемнадцать лет. В связи с 40-летием начала оккупации участники протеста — по приглашению Института по изучению тоталитарных режимов и правительства Чешской Республики — вновь приехали в Прагу. Они пробыли там неделю и за это время дали вместе со своими соратниками-диссидентами из бывших государств Варшавского договора несколько интервью. Их расспрашивали и об участии в акциях протеста, и о вынесенных судебных приговорах. Эти интервью, дополненные статьями историков, легли в основу книги «За вашу и нашу свободу».

В качестве редактора сборника «За вашу и нашу свободу» я в 2010 году пообещал, что чешское издание книги «Полдень» вот-вот появится в одном небольшом, но надежном издательстве. О скором ее выходе сообщила в том же году в Братиславе и Наталья Горбаневская, которая тогда впервые побывала в Словакии. Но над книгой продолжало висеть проклятие: издать «Полдень» не удалось. Спустя год появился сборник Йозефа Паздерки «Вторжение 1968. Русский взгляд», куда вошли интервью с российскими современниками событий, чьи судьбы оказались тем или иным образом связаны с вторжением. Эти люди олицетворяли собой самые разные общественные группы (солдаты, журналисты, диссиденты) — и столь же разнились оценки, данные ими тогдашним событиям. Участников демонстрации на Красной площади в книге представляет Наталья Горбаневская.

В конце 2011-го за издание «Полдня» взялся русист Штепан Черноушек, человек, имевший самое непосредственное отношение к зарождению сотрудничества между Институтом по изучению тоталитарных режимов и издательством «Торст», результатом чего стали уже упомянутые книги «За вашу и нашу свободу» и «Вторжение 1968. Русский взгляд». «Полдень», основополагающий документ об активном несогласии с вторжением, венчает собой совместную деятельность Института и издательства, стремившихся через книги передать восприятие оккупации как диссидентами, так и вообще гражданами стран восточного блока. Предыдущие публикации, в особенности сборник «За вашу и нашу свободу», содержат масштабный обзор общественной ситуации и оппозиционного движения в Советском Союзе и снабжены обширным справочным материалом. Любая попытка анализировать «Полдень» и делать к нему примечания

неизбежно привела бы к интеллектуальному разворовыванию этих книг. Вот почему издатели решили не вмешиваться и представить читателю «Полдень» именно как документальное свидетельство эпохи.



Виктор Файнберг, один из участников демонстрации на Красной площади, просматривает самиздатовский экземпляр книги «Полдень» в пражской библиотеке «Libri Prohibiti» (август 2008)

Иржи Юст
Слово предоставляется свидетелям
©Перевод П. Козеренко

Исторические травмы — неотъемлемая часть истории каждого народа. Одной из таких травм, до сих пор сказывающейся на отношении чехов к России, стало вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора под руководством Советского Союза 21 августа 1968 года. Этот день похоронил надежды Пражской весны и разделил жизнь общества на «до» и «после». Даже по прошествии стольких лет острота травмы не притупляется: в 2007–2008 годах, когда шли споры вокруг размещения элементов американской противоракетной обороны в Чешской Республике, тогдашний глава правительства Мирек Тополанек не скрывал: американский радар призван защищать страну от «русских неоимперских амбиций».

В начале 60-х годов в Чехословацкой Социалистической Республике возникло реформаторское движение: руководство страны, боявшееся взрыва социального протеста (главным образом, в связи с проблемами в экономике), попыталось преобразовать государственный социализм советского типа — сделать строй более гибким при сохранении ведущей роли коммунистической партии. Одновременно возникла необходимость решить словацкий вопрос: общественно-политические элиты требовали более симметричного устройства республики.

Стремление к переменам назревало и внутри общества, настаивавшего на либерализации системы и восстановлении основополагающих гражданских свобод. Требования эти были отчетливо сформулированы в конце июня 1967 года на IV Съезде Союза чехословацких писателей, на котором Павел Когоут потребовал упразднить цензуру, а Людвик Вацулик произнес знаменитую речь о взаимоотношениях гражданина и власти.

«Думаю, мы довольно хорошо — и быстро — поняли, что без изменений политической системы никакие экономические реформы не подействуют. Однако, в свою очередь, без экономических реформ не будет демократии», — объявил Венек Шилган, экономист и один из ярких деятелей Пражской весны.

Символом нового курса стал словацкий политик Александр Дубчек, в январе 1968 года избранный на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Поначалу Москва даже была довольна: Дубчек прожил 13 лет в СССР, закончил

Высшую партийную школу ЦК КПСС. Однако уже в марте 1968-го советское руководство выказало обеспокоенность развитием ситуации в стране. Дубчек получил первое предупреждение: Советский Союз не допустит отделения Чехословакии. Однако, несмотря на непрекращающееся давление, Кремлю не удавалось убедить чехословацкое руководство остановить процессы, которые летом 1968 года воспринимались Москвой исключительно как контрреволюционные. Сутью их было: установление свободы слова, стимуляция социальной активности, реабилитация политзаключенных, регистрация новых, независимых от коммунистической партии, движений. И хотя партийные лидеры согласились с требованиями Москвы усилить контроль над СМИ, исключить «ненадежные элементы» из руководства и запретить политические организации, военного вторжения в Чехословакию все это предотвратить не смогло.

Русский взгляд

Сейчас многие считают, что советское общество в большинстве своем воспринимало события Пражской весны как нечто далекое и напрямую его не касающееся. Будто бы август 1968 года был всего лишь эпизодом в истории Восточного блока, лишний раз подтвердившим доминирующую позицию Советского Союза.

Действительно, так может показаться, особенно при сравнении с Венгерской осенью 1956 года. Говоря языком той эпохи, чехословацкая контрреволюция была подавлена оперативно, всего-навсего за один день и без больших потерь. Инициатору операции — Советскому Союзу — удалось также свести к минимуму распространение «нездоровых» взглядов в соседних государствах и тем самым зарубить на корню «моральное разложение лагеря мира».

В российском обществе до сих пор нет единства по отношению к Пражской весне. Оно скорее склоняется к версии советской пропаганды, чем к объективной оценке тогдашней ситуации. По данным опроса, проведенного «Левада-Центром» в феврале 2008 года, лишь 28 % респондентов имели тогда представление об августовских событиях. При этом треть опрашиваемых знала о них из сообщений советских СМИ. Пражской весне тогда сочувствовали 7 % респондентов, 25 % сообщили, что поддерживали политику советского руководства.

Даже непосредственные участники интервенции неоднозначно оценивают известные им не понаслышке события. Йозеф Коуделка — выдающийся чешский фотограф, автор

всемирно известных снимков августовского вторжения, рассказывает, как некий ветеран в разговоре с ним утверждал, что они приехали в Прагу защищать социализм от сексуальной революции. Автору этих строк бывший военный, служивший в десантных войсках, с недоумением жаловался, что во время проведения операции чехи плевались в солдат, хотя, по его словам, русские пришли их защитить.

Отработанный механизм советской пропаганды набирал обороты. На бесконечных собраниях политруки на разные лады повторяли одно и то же: «обострение международной ситуации», «враги социализма», «контрреволюционеры», «агенты мирового империализма» и т. п. Подобные лозунги ложились на благодатную почву массового неведения среди солдат, готовящихся пересечь государственную границу. Для большинства из них знания о Чехословакии ограничивались отрывочными сведениями из школьной программы или сообщений советских СМИ. До сих пор лейтмотив воспоминаний участников той военной операции: «Мы не рассуждали, мы пришли выполнить приказ». Или: «Мы шли в неизвестность». Степень непонимания происходящего дошла до того, что кое-кто всерьез полагал, будто находится в Германии!

И все же нельзя рассматривать события только под этим углом. Миф о российском неведении и отсутствии интереса к Пражской весне разрушает книга «Вторжение 1968. Русский взгляд» Йозефа Паздерки (Институт по изучению тоталитарных режимов, издательство Торст, Прага, 2011)[14]— бывшего корреспондента Чешского телевидения в Москве и специалиста по русско-чешским отношениям. Как пишет автор, «именно кратковременное очарование русских Пражской весной стало главной темой книги. Это <…> попытка уловить русские настроения, эмоции и мнения о Пражской весне и ее насильственном конце». Сборник показывает: русским сейчас есть что сказать о все еще кровоточащей чешской ране, происходившее не было всего лишь локальным процессом на западной границе социалистического лагеря, корни советской «оттепели» и Пражской весны восходят к одному источнику. «Была жизнь до 21 августа — и после 21 августа 1968-го. Это год нашего самоопределения. Этот день прямо или косвенно обозначил судьбы многих людей», — не случайно именно эта фраза историка и правозащитника Арсения Рогинского открывает книгу. Молодежь обеих стран уловила дуновение ветра перемен и пыталась найти опору для грядущих преобразований: «И у русских была своя весна’. Она пришла раньше, протекала сложнее и де-факто открыла двери нашей пражской».

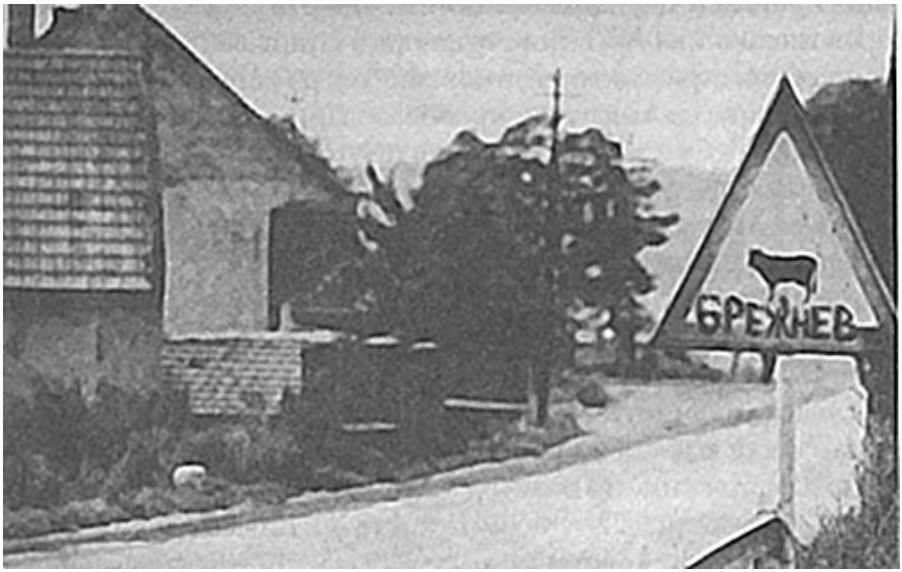
Уже эти выдержки из введения подталкивают к переосмыслению событий августа 68-го. Во многом мы (здесь я говорю как о чехах, так и о русских) привыкли к черно-белой трактовке вторжения. Йозеф Паздерка демонстрирует, насколько такая трактовка поверхностна, предоставляя слово как участникам интервенции, от солдата-десантника до генерала, так и работавшим в Праге советским журналистам и простым русским, по разным причинам находившимся тогда в Чехословакии. Дает возможность читателям заглянуть в рассекреченные советские документы и узнать, как ситуацию рассматривало посольство СССР в Праге и спецслужбы КГБ.

Особое место уделено реакции советскогороссийского общества на пражские надежды и их пресечение. Завершают книгу интереснейшие отрывки из дневника зоотехника Эльвиры Филипович-Птаковой, в которых отражены не только ее личные впечатления от вторжения, но и отношение чехов к русским после рокового августа — та странная, глупая и горестная ситуация, в которой оказались русские, буквально за одну ночь превратившиеся для чехов и словаков из друзей в оккупантов.

Больше свободы

Бесспорно ценнейший материал сборника — частные высказывания современников событий и сравнение их взглядов. «Что касается политической атмосферы в Праге, я быстро понял, что являюсь свидетелем исключительных событий, — говорит в интервью автору книги Владимир Лукин, в 1965–1968 годах старший референт пражской редакции журнала „Вопросы мира и социализма“. — Мы ощутили надежду и связь с процессами, которые происходили в СССР… Уже с подростковых лет мы не любили Сталина, мы хотели больше свободы и демократизации системы, хотя бы и в хрущевской версии, то есть „больше социализма“, что имело много общего с лозунгом „социализм с человеческим лицом“».

Оптимистический взгляд на чехословацкие реформы можно найти и у других героев книги. Владлен Кривошеев, корреспондент «Известий», находившийся в Праге одновременно с Лукиным, утверждает, что социализм Дубчека имел человеческий облик во всем, включая отношение коммунистических элит к простым гражданам.



Практически одинаково работавшие в Чехословакии русские вспоминают о страхе перед военным вторжением, а вернее о подавлении подобных мыслей. И Кривошеев, и Лукин осознавали опасность использования силы, но ни один из них до последнего момента не верил, что Советский Союз примет такие меры. «Я был наивен: пока в Праге не появились танки, был уверен, что ничего подобного не произойдет. Я мог себе представить, что Москва еще больше увеличит давление, усилит закулисную борьбу, но нечто подобное — нет», — объясняет Владимир Лукин. В его словах отразилась вера в десталинизацию советской заграничной политики, сохранившаяся даже после снятия Хрущева с поста генерального секретаря, и надежда, что «разрядка» относится не только к советско-американским отношениям, но и к отношениям внутри Восточного блока.

Точка зрения оккупанта

Открыть путь к сердцу и разуму «оккупанта» поможет анализ трех различных точек зрения на процесс военного вторжения. Борис Шмелев добровольно вступил в ряды элитных десантных войск, Эдуард Воробьев и Павел Косенко были профессиональными военными. Их опыт и восприятие вторжения «союзных армий» в Чехословакию различны. Свою роль здесь, конечно, играет служебный статус, но также способность давать оценки, выйдя за рамки военной субординации с ее правилом: приказ не обсуждается, приказ выполняется.

«Историю в СССР нам преподносили в контексте угрозы социализму и всему Восточному блоку. В Западной Германии

якобы усиливаются реваншисты, а армии НАТО готовятся под видом учений занять Чехословакию, чтобы получить возможность вбить клин между странами Восточного блока и дойти до границ Советского Союза», — говорит Борис Шмелев, десантник 7-й гвардейской десантной дивизии, которой доверили в первые часы наступления занять ключевые государственные объекты.

«Это соответствовало классическим схемам, по которым нас воспитывала советская держава: со всех сторон мы окружены врагами и империалистами… Промывка мозгов, которую довел до совершенства Сталин, все еще функционировала безупречно, особенно в военных частях. Человек извне практически не в состоянии этого себе представить — вы пережили лишь слабую имитацию сталинского идеологического урагана», — так Шмелев комментирует ситуацию, сложившуюся внутри армии во второй половине 60-х годов.

Абсолютная индоктринация, проводимая ради того, чтобы сохранить любой ценой «чистоту» социализма при столкновении с реальностью, не пошла на пользу советскому руководству. Жители Чехословакии принимали войска «братских государств» в штыки и не скрывали своего возмущения. Шмелев столкнулся с протестами в самой Праге, в том числе с кровавым инцидентом, в результате которого лишились жизни несколько демонстрантов. Эдуард Воробьев, тогдашний капитан и командир роты 242 мотострелкового полка, хотя и не был свидетелем силового подавления гражданского сопротивления, не мог не заметить протестов. Позиция чехословацкого общества вынудила его, как и Шмелева, задуматься о том, во что их вовлекли. «Я начал сомневаться. Не знал, что и подумать, — рассказывает он о своих

ощущениях. Бывший „оккупант“ — а это для чешского и словацкого обществ принципиально важно — признается, что жалеет о своем участии в подавлении Пражской весны: — Конечно, я об этом сожалею. Я активно участвовал в политике, которую в 1989 году советское руководство признало ошибочной. Я был ее составной частью, поскольку получил приказ, с которым военный едва ли может спорить. В любом случае, произошла ошибка, которую уже нельзя исправить».

Генерал Павел Косенко, один из последних здравствующих руководителей августовского вторжения, выглядит на этом фоне как enfant terrible. От его всеотрицающей позиции — идет ли речь об идеях Пражской весны или количестве жертв — веет застарелым душком биполярного бряцанья ракетами и лязгом танковых гусениц.

«Это неправда, контрреволюция в Чехословакии действительно существовала. Мы конфисковывали ее оружие и нейтрализовали очередные акции. Мне очень жаль, что сегодня это искажается. Конечно, у каждого народа есть право выбрать такой общественный строй, какой он хочет, но строй должен соответствовать обстоятельствам. Мы должны были вмешаться, глобальная ситуация этого требовала. И, как я уже говорил, мы предотвратили третью мировую войну. <…> Я никогда не ощущал себя оккупантом и не понимаю, как вообще это кому-то могло прийти в голову. Мы никого не оккупировали, мы приехали помочь, выполнили свое задание и уехали, — объяснял генерал Косенко автору книги, а говоря о жертвах, заверял его: — Мирные жители? Это невозможно. Не знаю, как обстояли дела у других, но моя дивизия здесь ни при чем… Я вновь повторяю: на моем участке никаких жертв не было. Не исключаю, что-то могло быть, но клянусь, мы не раздавили и не убили ни одного чеха».

Интервью с Павлом Косенко дает четкое представление об идейных разногласиях между респондентом и интервьюером. Чувствуется, как последний пытается убедить заслуженного генерала в ошибочности его взглядов. Однако Косенко не признает ни отрицательной роли Сталина в советской истории («…при Сталине было безопасно… Я лично ни этих казней, ни документов не видел и видеть не хочу»), ни объективной оценки Пражской весны.

Пожалуй, случай генерала Косенко все же исключение, чем правило. Многие участники вторжения раньше или позже начали пересматривать свои взгляды: «Первые две недели раскрыли нам глаза. Мы поняли, что ситуация в Чехословакии далеко не так проста, как утверждали политруки. Мы были незваными гостями».

«Раздавлен русскими танками в Праге»

Локальную, как может показаться на первый взгляд, значимость Пражской весны опровергает позиция части советского общества — диссидентов и творческой интеллигенции. «За ходом событий Пражской весны еще до вторжения внимательно и напряженно наблюдала не только коммунистическая элита и диссиденты, но также немалая, хотя статистически незначительная часть советской интеллигенции и людей творческих профессий. После вторжения их интерес естественным образом сохранялся или усиливался», — пишет в главе «Внимание! Внимание! Русская интеллигенция и советская оккупация» русист Томаш Гланц.

Гланц затрагивает сюжет, о котором, не побоюсь утверждать, не подозревала большая часть не только чешского, но и российского общества. Речь идет о реакции деятелей советской культуры — как ни странно, далеко не все были пассивны, многие открыто демонстрировали свое несогласие.

В качестве примера Томаш Гланц упоминает, в частности, «Песенку про старого гусака» Булата Окуджавы, — рифмованную аллегорию, обыгрывающую фамилию коммунистического генерального секретаря и впоследствии чехословацкого президента Густава Гусака, — а также цитирует мемуары Евгения Евтушенко: «Наши танки, входящие в Прагу, словно захрустели гусеницами по моему позвоночнику, и, потеряв от стыда и позора

инстинкт самосохранения, я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских танков» — и приводит его стихотворение, оканчивающееся словами:

> Пусть надо мной — без рыданий —
> просто напишут, по правде:
> «Русский писатель. Раздавлен
> русскими танками в Праге».

Протесты против насильственного подавления Пражской весны не ограничивались самиздатом и неопубликованными стихами. «Незримым проявлением ужаса и пассивной формой выражения мужественной позиции, зачастую, возможно, более рискованной, чем громкий жест знаменитостей типа Евтушенко, — пишет Гланц, — был отказ подписать заявление в поддержку вторжения. Такого рода заявлений ходило множество, а из известных деятелей их не подписали, например, поэты Константин Симонов и Александр Твардовский, композитор Родион Щедрин, муж Майи Плисецкой».

Важнейшим актом несогласия стал протест семи инакомыслящих на Красной площади, которых с полным основанием называли «семеро смелых». «Люди, вышедшие на Красную площадь, хотели показать, что им стыдно. Чтобы другие не думали, что мы не только одобряли, но и игнорировали», — утверждает Людмила Алексеева.

«Я вплоть до нашей, в августе 1968-го, не ходила на демонстрации. Тогда я чувствовала, что не могу иначе, — делится с Паздеркой своими воспоминаниями Наталья Горбаневская. — Мы вышли на Красную площадь. Были совершенно спокойны и преисполнены особой радости. Я вынула из коляски [где лежал ее грудной сын. — *авт.]* два плаката. Один был по-чешски: At žije svobodné a nezávislé Československo!’[15] <…> Страсти по демонстрации до сих пор не утихли. И сегодня мне пишут люди, которые нас осуждают или, наоборот, говорят о героизме. Но я не очень люблю слова о героизме. Это было обычное дело, наше личное решение. Мы только взяли на себя ответственность. Лишь с течением времени наш поступок превратился в легенду, значение и слава которой парадоксально растут с каждым годом. Вся эта история живет своей жизнью. Но мы — обыкновенные люди, никакие не легенды», — скромно описывает эпизод, ставший значимой главой советского диссидентского движения, Горбаневская.

Миф о равнодушии

Сборник Йозефа Паздерки убедительно показывает, что разгром Пражской весны нельзя считать травмой лишь одного народа. Решение советской «верхушки» задавить ростки свободы танковыми гусеницами коснулось и советского общества. Были задеты и судьбы высказывающихся на страницах сборника людей. Вне зависимости от того, были ли это солдаты, диссиденты, журналисты или артисты, из-за несогласия с преступной операцией пострадали многие: кого-то увольняли с работы, кому-то запрещали выезжать за границу, а кому-то, как Наталье Горбаневской, режим надорвал здоровье в психиатрической «лечебнице». На всю жизнь остался травмирован и генерал Павел Косенко — сегодня жалкий герой августовских дней, настаивающий на своей правде о спасении мира от третьей мировой войны и обожающий Сталина.

Заслуга Паздерки, я считаю, в том, что он наглядно показал: представление о русском равнодушии к Пражской весне ошибочно, — и доказал, что такого понятия, как «абсолютная поддержка», не существует. Сейчас это чрезвычайно важно. Разрушение черно-белых мифов на основании личного опыта разных людей может помочь чехам избавиться от массовых стереотипов и наконец осознать, что воля режима и воля народа — разные вещи. Ведь даже сегодня у немалой части моих чешских сограждан, знакомых с официальными результатами выборов в России и понимающих, сколь неразвито там гражданское сознание, складывается впечатление о безоговорочной поддержке россиянами нынешнего правящего режима, который, заявляя о своем суверенном «демократическом» пути, настоящей демократии боится, как черт ладана.

Уверен, что и россиянам эта книга поможет глубже осмыслить недавнюю историю и, опираясь на слова своих соотечественников, понять, почему события августа 68-го оставили в чешском обществе трудно изгладимый след.

notes

Примечания

1

Эмануэл Радл (1873–1942) — чешский биолог и философ, противник позитивизма. *(Здесь и далее — прим. перев.)*.

2

Святой Иероним (342–420) — церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается как святой и один из учителей Церкви. В течение долгих лет Иероним переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Его перевод Библии — «Вульгата» — был одиннадцать столетий спустя провозглашен Тридентским собором в качестве официального латинского перевода Священного Писания. Существует легенда о том, что, когда Иероним жил в монастыре, к нему вдруг пришёл хромой лев. Все монахи разбежались, а Иероним спокойно обследовал больную лапу льва и вытащил из нее занозу. После этого благодарный лев стал его постоянным спутником. В связи с этой легендой Иероним в западно-европейской живописи почти всегда изображался в сопровождении льва.

3

Карел Гинек Ма́ха (1810–1836) — чешский поэт, писатель, основатель чешского романтизма. Его поэма «Май», опубликованная в 1836 г., была отвергнута современниками как несоответствующая тогдашним моральным нормам. Была напечатана на деньги автора, на сегодняшний день она считается классическим произведением чешской романтической лирики. Его дневник от 1835 г. наполовину зашифрован, впервые он был полностью расшифрован и опубликован с комментариями лишь в наше время.

4

Богуслав Бальбин (1621–1688) — чешский писатель, историк, теолог, священник, географ, педагог, лингвист. Член ордена иезуитов. Один из воскресителей чешского языка. Ведущая фигура чешского барокко. Будучи студентом иезуитской коллегии, добровольно участвовал в боях со шведами в Праге в 1648 г., во время Тридцатилетней войны стоял под пушечным обстрелом.

5

Шимми — модный танец в Европе в период между двумя мировыми войнами.

6

Карел Тейге (1900–1951) — чешский писатель, переводчик, литературный критик, публицист, художник-график, книжный оформитель, теоретик искусства, занимался архитектурой, фотографией, кино. Крупнейшая фигура среднеевропейского авангарда. В своих теоретических работах соединял неомарксистскую социологию с психоанализом. Перевел с французского сочинения Бодлера, Лотреамона, Верхарна, Аполлинера, Мальро, труды Луи Деллюка, с русского — прозу И. Эренбурга, статьи Н. Бухарина о литературе. Автор книг «Фильм» (1925), «Советская культура» (1927), монографий об Архипенко (1923), Маяковском и русском футуризме (1936) и др. После 1948-го под давлением социалистических властей исчез из публичной жизни. Подвергался официальной диффамации как «троцкистский выродок». Скончался от инфаркта, его архив подвергся досмотру тайной полиции.

7

Бертольт Брехт (1898–1956) — немецкий поэт, прозаик, драматург, театральный режиссёр, реформатор театра, теоретик искусства, основатель театра «Берлинер ансамбль».

8

Поэтисты — чешские поэты, участники движения «Поэтизм», возникшего в 1923 г. в авангардистской среде вокруг художественной группы Деветсил. В 1924 г. Карел Тейге напечатал в брненском журнале «Гость» первый манифест нового художественного движения. Поэтизм должен был быть не только художественной программой, но и рассматривать саму жизнь как поэзию.

9

Прах Шелли был развеян.

10

Pozor по-чешски — внимание.

11

Pozor vlak! по-чешски — осторожно, поезд!

12

Ty hajzle jeden! — Ты, сволочь! *(чешек.)*.

13

Natalia Gorbanévská: Poledne. Přel. Milan Dvořák, Torst a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2012, 310 s.

Josef Pazderka (editor). Invaze 1968. Ruský pohled. — Ústav pro studium totalitních režimů a Torst, 2011.

15

Да здравствует свободная и независимая Чехословакия! (*чеш.*).